Непотопляемый Сэм

Кот, переживший
три корабля



АЛЕКСЕЙ
КУКУШКИН

Алексей Кукушкин

Непотопляемый Сэм

https://litres.ru/74883133
SelfPub; 2026

Аннотация

Хочешь узнать войну такой, какой её не видят люди?

В центре этой истории — кот Оскар, слышащий то, что людям не услышать: тонкую, ледяную ноту из глубины моря — предвестницу торпеды. Именно он предупредил экипаж "Бисмарка". Его нос чует беду раньше приборов, а лапы помнят каждого, кто ушёл, на борту эсминца «Казак» суеверия не глупость, а язык страха, а верность измеряется не словами, а тем, кто бросается в чёрную воду, чтобы спасти другого. Главный герой громче всех мяукал на "Арк Ройал".

Когда корабль ломается пополам, именно Оскар становится голосом этой трагедии: его вой, молчание и единственный крик расскажут о мужестве, которое не носит медалей, и о памяти, которая держится крепче стали.

Книга — не про сражения на бумаге, она про тех, кто остаётся рядом до последнего вздоха, и про то, как горе оседает в самых простых вещах: в старом ошейнике, в кружке с вмятиной, в птице, что не улетает.

Прочитай — и ты уже не сможешь забыть этот взгляд с палубы, уходящей под воду.

Содержание

Глава 1. Котёнок на краю причала 4
Глава 2. Чёрно-белый на борту 19
Глава 3. Два выстрела в Датском проливе 31
Глава 4. Руль, который не слушается 44
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Алексей Кукушкин
Непотопляемый Сэм

Глава 1. Котёнок на краю причала

Холод пришёл снизу. Он поднимался из каменного пола, продирался сквозь старую мешковину и хватал котёнка за лапки — мягко, но по-хозяйски, как будто у него были на это права. Тёплым в мире было только два предмета: бок сестры, дышавший рядом, и пересохший мамин нос, когда она приходила по ночам. Этим утром мама ушла в темноту между ящиками и не возвращалась так долго, что срок этот уже не умещался в кошачий счёт времени.

Ящик, в котором они лежали, пах чужой страной: бумага, табак, типографская краска, города, которых котёнок никогда не увидит. Брат спал, уткнувшись в солому. Сестра тоже, а этот не мог — нос, главный орган котёнка и главная его судьба, ловил в щель между досками запахи, которых не было ни в ящике, ни в маме.

Пахло дёгтем и мокрой пенькой. Пахло рыбой — не рыбой даже, а рыбьей жизнью: чешуёй, льдом, рассолом. Пахло машинным маслом, горячим железом и угольной пылью, оседавшей из воздуха, потому что за крышами складов пыхтел паровоз, а сквозь всё это, тонко и упрямо, шла соль —

настоящая морская, той силы, что висела в воздухе, как свет.

Котёнок выбрался из ящика первым. Он не знал, что первый, — просто тепла сестры стало мало, а запах снаружи был слишком громкий, чтобы его игнорировать. Он перелез через доску, встал на мешковину и поёжился: пол был как лёд. Шаг. Ещё шаг. Хвост дрожал, шёрстка дыбилась, но он шёл — на запах, из щели, где пахло сразу всем: дёгтем, рыбой, солью и отдельно — чем-то железным, огромным и незнакомым.

У ворот склада мир взорвался светом. Котёнок застыл: прямо на него катилась тележка с бочками — огромная, скрипучая, с конём, от морды которого пахло потом и сеном. Лапы сделали сами всё, чему их не учили: нырок в сторону, в тень, под самый край ящика. Колесо прошло в ладони от носа. Котёнок даже не успел испугаться как следует — страх догнал его потом, когда всё уже кончилось, и он сидел, вжавшись в тень, и слушал, как сердце стучит в уши, в лапы, в самый кончик хвоста.

Снаружи был порт, апрель 1941 года, Готенхафен — город, который для мира ещё не стал Гдыней, а для котёнка не значился ничем, кроме источника запахов. Чайки кричали так, что закладывало уши; среди них визгнула одна — выше, тоньше других, — но котёнок не успел разобрать, чем она не такая: крик сложился со всеми в общий вой неба. Краны поднимали ящики и опускали их со звуком, от которого дрожал пол. Мужчины в робах перекрикивались короткими

словами — «Los!», «Halt!», «Vorsicht!» — и котёнок не понимал слов, но чувствовал: слова эти как верёвки, за которые люди цепляются, чтобы не упасть.

У края воды что-то шевельнулось. Крыса — большая, серая, с хвостом, как обрывок каната, — пробежала по брусчатке и исчезла в щели между камнями. Котёнок замер. Тело само сделало то, чему его учили тысячи поколений: пригнулось, поджало зад, повело крупом. Прыгать хотелось отчаянно — при таких лапках и таком хвосте прыгать было бы смешно, — и всё-таки хотелось. Крыса не вернулась. Котёнок ещё не знал, что это была его первая работа на войне: увидеть врага и не выдать себя.

Потом он носом увидел то, чего не видел никогда. С той стороны, где кончались склады, стояла гора. Не гора: горы не бывают такими ровными и такими серыми. Горы не пахнут свежей краской, машинным маслом и пушечным салом разом. Котёнок остановился, и шёрстка на загривке поднялась сама, без его участия. Это был «Бисмарк», самый большой корабль, который когда-либо сходил со стапелей Германии, — но котёнок не знал и знать не мог. Он знал только, что от горы веет бедой — так веет от грозы за час до того, как небо сядет на воду.

И именно туда он и пошёл. Не к тёплой конторе, не к мешкам с пахучим зерном — к горе. Тепло звало назад, а беда звала вперёд, и в короткой кошачьей жизни редко бывает выбор, который не решается носом. Нос выбрал беду и именно

там его и нашёл Ханс.

Он вышел из-за штабеля ящиков — большой человек в робе, с папиросой за ухом, с рукавами, закатанными до локтей. Пахло от него табаком, трудом и утром, и был он самым тёплым предметом на всём холодном причале. Котёнок не думал. Котёнок вообще тогда не думал — он сделал единственное, что умела вся его жизнь: пошёл на тепло.

Он ткнулся лбом в грубую шерстяную манжету и замер. Тепло шло из неё глубоко, как от печки. Ханс вздрогнул, посмотрел вниз и присел на корточки.

— Да ты кто такой?

Котёнок смотрел на него снизу вверх и дрожал. Дрожь шла от холодного пола, от чаек, от железной горы за спиной — от всего сразу. Ханс взял его на руки — сначала неловко, на вес ладоней, как берут чужой узел, — потом прижал к груди, и в ладонях, привыкших к канатам и крючьям, крошечное тельце дрожало так отчётливо, что руки слышали дрожь раньше, чем глаза увидели.

Свободной рукой он машинально коснулся нагрудного кармана — там, где лежал сложенный вчетверо фотоснимок, — и тут же отдёрнул пальцы, будто обжёгся. Котёнок жеста не понял. Он сунулся носом в манжету и держался. Человеческое тепло было не такое, как мамин бок: оно дышало редко и глубоко, и внутри него что-то гудело, как гудят склады.

— Ну-ну, — сказал Ханс. — Ну-ну. Замолкай.

Котёнок не мог замолкать — у него не было слов. Он сде-

лал другое: прижался крепче, а Ханс стоял посреди пустого пролёта между штабелями, держал котёнка у груди и смотрел на серую громаду за спиной так, как не смотрят на корабль.

— Ай, чёрт с тобой, — сказал он наконец. — Пошли.

Рыбью голову ему положили вечером. Ханс сидел в закутке между ящиками, где рабочие ели пайку, и рядом, на перевёрнутом ящике, лежала она: крупная тресковая голова с глазом, который смотрел в пустоту. Запах был резкий, на краю тухлый, с аммиачной нотой, от которой котёнок отшатнулся, как от плевка.

Ханс фыркнул.

— Смотри-ка. Балануешься.

— Пристрить бы того, кто её выбросил, — проворчал старик напротив. Старика звали Мартин, и руки у него были белее, чем у всех в порту, — руки конторского человека, который почему-то таскал ящики. Он дул на остывающий чай, и пар поднимался к его лицу, старея на лету. Потом он вытер пальцы о робу, порылся в кармане и достал свёрток в промасленной бумаге. Бумага пахла дымом. Котёнок вскинул голову раньше, чем понял почему.

Мартин развернул свёрток. Там лежал кусок копчёного угря — тёмный, маслянистый, блестящий, как череп устрицы изнутри. Запах ударил котёнка так, что тот сделал шаг прежде, чем решился: дым, жир, речная тина под слоем соли

— и что-то ещё, чему он не знал названия, но что потом, всю жизнь, будет для него означать одно слово: дом.

Он съел всё. До последней полоски, вылизал бумагу, вылизал пальцы Мартина, и Мартин засмеялся — низко, кашляюще, как смеются люди, которые давно не смеялись.

— А, так ты гурман, — сказал Ханс. — Угорь. Рыбная лавка тебя проклянёт.

— Гамбургские коптильни, — сказал Мартин спокойно. — Последний раз такое ел в двадцать девятом. Дешевле стало совесть чистить рыбой.

Ханс хотел ответить что-то обычное, насмешливое, — и не ответил. Мартин был из Гамбурга, и все в порту это знали, и никто не спрашивал, зачем человек с конторской осанкой и белыми руками таскает ящики в Готенхафене, на самом краю империи. Были вещи, о которых здесь не спрашивали, — и котёнок, поднявший голову над миской, впервые почувствовал это молчание как погоду: оно спустилось между людьми и повисло, как туман над водой.

Котёнок, наевшись, сел и посмотрел на Ханса — прямо, как смотрят коты, когда решился вопрос имущества. Ханс посмотрел в ответ и вдруг рассмеялся — коротко, как кашлянул.

— Сидит, как маленький король на троне. Ну и что с тобой делать?

— Назови, — сказал Мартин. — Безымянному на корабле делать нечего. Море без имён не любит.

Ханс помолчал. Пауза была непонятная: он смотрел не на котёнка, а куда-то мимо него, на воду, где качались баржи, и лицо у него было такое, каким было утром, когда он держал котёнка и не смотрел на «Бисмарк».

— Отто, — сказал он наконец. — Отто.

Он произнёс имя так, как произносят имя, которое когда-то носил кто-то другой, — старше котёнка, больше и не вернувшееся. Мартин хмыкнул:

— В честь канцлера?

— В честь корабля, — сказал Ханс. — Канцлер — это человек, а это железо. Пусть железо его и воспитывает.

Котёнок не понял слов, но понял интонацию: она была тёплая, с дрожью на краю, как угорь. Он мурлыкнул. Ханс взял его за шкирку, поднял к лицу, и котёнок вблизи увидел глаза — усталые, серые, с красными прожилками — и одну морщинку у левого, глубокую, как борозда.

— Отто, — сказал Ханс ему в нос. — Ну что ж, Отто. Смотри, не утони.

Услышал ли он сам, что сказал? Котёнок не знал. Чайки за стеной склада прокричали разом, и Мартин, поднимаясь, сказал тихо, почти беззлобно:

— Чёрно-белый на борту линкора. Если бы я был суеверным, я бы крикнул.

— Ты и есть суеверный, — сказал Ханс.

— Да, — согласился Мартин и пошёл прочь, всовывая руки в карманы. — Поэтому я и крикнул.

В ту ночь котёнок спал в картонной коробке у печки в конторе портового надзирателя, куда Ханс его, кряхтя, пронёс между ящиков, как контрабанду. Печка пахла углём, старым войлоком и табаком, который здесь курили годами, — дым впитался в стены так, что, кажется, дышали сами стены. За окном, далеко на море, глухо ворчала гроза — апрельская, ранняя, сама не своя. Котёнок проснулся на её дальний гром, прижал уши и издал тонкий, дрожащий, протяжный звук — не мяуканье, а что-то до мяуканья, от чего у него самого дрогнуло сердце. Звук никого не разбудил. Он подождал, прислушался — гроза уходила в море, — и лёг обратно. Никто не слышал. Пока никто.

И ему снился запах угря — тёплый, дымный, ровный, а за запахом, на границе сна, стояло что-то огромное и железное, и дышало.

Утром котёнок проснулся один. Ханса не было, печка остывала, и в конторе было слышно, как порт просыпается: звон, перекличка, свистки, дрожь пола. Котёнок вылез из коробки, потянулся — всеми лапами по очереди, как учила мама, — и пошёл на запах. Запах был новый: не дёготь, не рыба. Краска. Свежая, жирная, свинцовая краска, от которой щиплет нос. Она шла с той стороны, где стояла гора.

Трап оказался не трапом, а наклонной улицей. Котёнок поднимался по ней, вцепившись в доски, и ступени были огромные, как торцы брёвен. На середине он поскользнулся — доска блеснула утренней влагой, — и мир на секунду пе-

ревернулся: небо внизу, вода вверху. Он вцепился когтями, висел, дышал, дёрнул задними лапами — и выкарабкался. Сердце колотилось где-то в горле. Котёнок сидел на ступени и ждал, пока мир встанет на место. Потом пошёл дальше, у котов нет другого способа: упал — встал — пошёл.

Наверху пахло иначе: палуба, просоленная за зиму, горячая сталь, смола в пазах и сквозь всё — то самое, от чего вставала дыбом шёрстка, — теперь уже не гроза за час, а гроза, которая пришла.

Он шёл по запаху тепла. Тепло вело влево, под палубу, сквозь дверь, которую кто-то оставил приоткрытой, — и вниз, по винтовой лестнице с латунными скобами-ручками. На полпути его обогнал матрос с ящиком, оглянулся, присвистнул:

— Братцы, у нас пассажир!

Смеялись негромко, тепло. Котёнок, сжавшись, прошёл между ног, нос нашёл источник: камбуз. Стенка печи — тёплая до дрожи. Рядом на табурете повар, огромный, в накрахмаленном белом колпаке, что-то рубил. Пахло луком, жиром, свежим хлебом, кофе с цикорием. Пахло так обильно, что котёнок сел и замер, как перед миражом.

— Это что ещё за контрабанда? — спросил повар, не оборачиваясь.

— С причала, — сказал матрос с ящиком. — Хансовская, говорят.

— Хансовская так хансовская, — повар наконец обернул-

ся и посмотрел на котёнка сверху вниз, долго. — Мясо есть?

Котёнок не понял слов, но понял вопрос. Он посмотрел на стол, где лежала не рыба, а обычная варёная скумбрия для супа, и отвернулся. Повар засмеялся.

— Нет, ты гляди. Барин.

Он всё-таки отрезал от варёной рыбы кусок и положил на доску у печи. Котёнок подошёл, понюхал, съел — не потому что хотел, а потому что голод. Тепло оказалось сильнее вкуса, и он понял это о себе уже тогда: тепло важнее еды. Тепло — это еда, когда еды нет.

За день его, по пирсовой привычке людей, приручили полкорабля. Кочегары, у которых руки пахли углём и были горячие, как их топки, совали его в свои ладони и спорили, чей он. Худая девушка-радистка со сваренными от ключей пальцами гладила его одним пальцем — так, будто боялась сломать. Он сидел на шкафчике в кубрике и смотрел, как в три яруса развешивают койки; он спал в свёрнутом сигнальном флаге — жёлтом с красным по диагонали, — где пахло полотном, солью и старой краской. Матрос, повесивший этот флаг на гвоздь, объяснил остальным:

— Это «человек за бортом». Оскар, по-нашему. Зовут, когда кто за борт свалится.

— Так пусть спит под ним, — сказал второй. — Под таким флагом не тонут.

Все засмеялись. Никто не заметил, как боцман, старый, с лицом, будто отлитым из полируемой латуни, обернулся на

смех, посмотрел на кота в флаге — долго, издали — и ничего не сказал. Котёнок запомнил это — не слова, а расстояние. Одни люди пахли теплом на расстоянии вытянутой руки. Боцман пах теплом на расстоянии трапа.

После полудня палуба стала другой. Из-под ног исчезла дрожь покоя — пришла дрожь работы: трапы заскрипели под ботинками, лебёдки затявкали, и котёнок, прижав уши, перебежал за угол кубрика, где стенка глушила звук. Он не понимал, что такое погрузка, но понял главное: корабль ест. Ему тащат в железное брюхо ящики, бочки, ящики, бочки, и он будет есть, пока не лопнет или пока не отправится туда, откуда ест. Котёнок смотрел на растущий штабель провизии и чувствовал, как в порту сгущается что-то, чего он не знал названия, а люди знали и называли словом «поход».

Раза три за день за обшивкой камбуза скреблось — мелко, торопливо, с той стороны, где кончалось тепло. Тело котёнка каждый раз наливалось холодной готовностью: пригнуться, повести крупом, слушаться носа. Но лапки были ещё слишком малы, а хвост — слишком короток, и готовность так и оставалась готовностью. Он мяукнул в щель один раз — деловито, на вырост, — и снова свернулся у печки.

К вечеру повар, смирившись, поставил ему отдельную плошку у печи — жестяную, с отбитым краем. В неё он ссыпал обрезки и то, что гордо называл «супом для кота»: бульон, варёную треску, разваренный лук. Котёнок ел без энтузиазма, но ел, и повар каждый раз заглядывал снизу вверх

и ворчал: «Барин. Из Гамбурга, небось. Там, говорят, у котов повара». Матросы расходились по кубрикам мимо плошки и по очереди заглядывали в неё — проверить, ест ли, — так что к ночи у котёнка было уже более двухсот родственников, и все они, как одна семья, обсуждали его аппетит.

А вечером, когда стали гасить свет и палуба начала остывать, котёнок нашёл своё место: тёплая стенка камбуза, снаружи, у вентиляционной решётки, откуда шёл запах хлеба и жареного лука. Он забрался в свой жёлто-красный флаг, свернулся, укрыл нос хвостом и впервые за всю свою жизнь — за четыре недели этой жизни — уснул без дрожи.

Внизу, в железном брюхе, дышали машины. Палуба дрожала ровно, мерно, как дышит большой зверь во сне. Котёнок не знал слов «турбины», «котлы», «сто пятьдесят тысяч лошадиных сил» — он чувствовал: под ним спит нечто, что больше мира, и спит крепко, и ему тепло у его бока. Он проспал так крепко, что не услышал, как «Бисмарк» гуднул сиреной — длинно, в темноту, над Готенхафеном.

Ханс вернулся за полночь. Фонарь в руке качался и метил по причалу жёлтые пятна. Он проверил контору — коробка у остывшей печки была пуста. Проверил склад, промежутки между ящиками, заглянул за мешки. Обошёл причал от швартовых до швартовых. Говорил в темноту, негромко, имя, как говорят его, когда ищут:

— Отто. Отто!

Котёнок слышал. Он слышал голос сквозь сталь, приглу-

шённо, как через подушку, — так звучал мамин голос сквозь стенку ящика. Он встал на вентиляционной решётке, вытянул шею, посмотрел в темноту палубы. В голосе было знакомое: тепло, запах табака, манжета. Но туда, наверх, вёл холод, и там молчали чайки, а здесь была стенка — тёплая, живая, дышащая хлебом и луком.

Он сделал полшага. Остановился. Сел.

Кошки умеют выбирать. Это у них в крови раньше страхов и имён: выбрать место, где тепло, и не ходить туда, где было теплее. Ханс позвал ещё дважды — «Отто!» — и на третий раз в голосе было уже не столько имя, сколько усталость.

Котёнок не вышел. Он лёг обратно к стенке, свернулся и закрыл глаза. Тёплая сталь вздыхала под ним.

Вахтенный на трапе — молодой, с красными от бессонницы глазами — видел, как человек с фонарём ходит вдоль причала и зовёт кота, и не знал, что сказать: кот был уже внутри, у камбуза, под охраной повара, и это было самым счастливым местом на всём корабле. Он промолчал — поморскому, то есть мудро, — и человек с фонарём ушёл в темноту, и причал опустел.

А Ханс стоял на причале, и фонарь светил в пустоту у трапа. Он выключил его, чтобы сберечь батарейку, — и в темноте осталась только громада: чёрная стена, выше домов, шире улицы, с тремя мачтами, затянутыми чехлами. Гора дышала. Пар из машинных труб шёл ленивыми белыми столбами и таял над водой.

И на рее, над всей этой темнотой, сидела чайка.

Она сидела неподвижно, как сидят только птицы, которые не могут улететь: левое крыло было подломлено, вывернуто чуть не под тем же углом, что и палуба соседнего сухогруза. Она не смотрела на Ханса. Она смотрела туда, куда смотрел корабль, — на север, в темноту, откуда шёл ветер. Один раз она переступила лапкой по рее и снова замерла. Ханс поднял голову, нашёл её глазами, и что-то в нём дрогнуло — не страх, не жалость: узнавание. Так на рейде сидели не все птицы. Так сидела одна — и сидела, казалось, всегда.

Ханс смотрел на неё долго. Потом оставил её в покое.

Где-то там, в железе, билось маленькое тёплое сердце, которое он в первый раз за всю жизнь не донёс до дома. Он мог бы ещё поискать. Он не пошёл. Поднял воротник, сплюнул в темноту — старой привычкой, злясь на себя, — и сказал тихо, воде, не кораблю:

— Ну что ж, Отто. Теперь ты моряк.

Он ещё постоял, засунув руки в карманы, и вспомнил то, что вспоминал редко и против воли: двадцать первый год, вода, чужие крики в темноте и рука, которую он не дотянулся схватить. Тогда он тоже качал головой и говорил воде что-то похожее. Вода всё помнит и ничего не отвечает.

Ветер сменился. Он шёл с моря и нёс соль, мокрую гальку и — очень далеко, за складами, за городом, за границей сна — слабое, почти невозможное в этом апреле дыхание коптилен. Угорь. Гамбург. Дом, которого у котёнка не было и

который отныне был у него: запах, а не место.

Внизу, в тепле у камбуза, котёнок спал. Ему снился запах угря — тёплый, дымный, ровный. За запахом стояло огромное железное, которое дышало и гудело, и больше ничего не было. Он не знал, что это «Бисмарк». Он не знал, что через три недели этот корабль уйдёт в море, которое не возвращает. Он не знал, что дрожь в палубе — это шаги беды, шаги, которые он теперь будет узнавать всю жизнь: на трёх кораблях, в двух флотах, под тремя именами.

Он просто спал у тёплой стенки — впервые за всю жизнь без дрожи. И это была первая победа котёнка в войне, которая ещё не началась: найти тепло и удержать его.

Глава 2. Чёрно-белый на борту

Ночь на «Бисмарке» не была тёмной, а она была гудящей: в машинных отсеках дышали котлы, по трубам шёл пар, и вся эта скрытая жизнь отдавалась в стальных бортах ровным, глубоким, никогда не смолкающим сторожевым гулом, который котёнок теперь знал как собственное сердце дома. Он проснулся у тёплой стенки камбуза — проснулся сразу весь, от усов до кончика хвоста, потому что нос донёс новое: не хлеб, не лук, не цикорий — нечто горько-солёное, плотное, живое, чем-то похожее на дождь, попавший в бочку. Курт уже стоял у бочки — огромный, плечистый, с вечно заросшей щетиной, — и выковыривал из неё клапан деревянным колышком, и пиво, тысяча литров пива, спрятанного в трюме по личному распоряжению самого командующего флотом, вздыхало и вспенивалось под его руками, наполняя камбуз запахом хмеля, солода и чужого праздника, который ещё не наступил.

— Слыхал? — спросил Курт, не оборачиваясь, — но котёнок понял, что вопрос адресован не ему: слова плыли мимо, как дым от труб. — Тысяча литров. Погрузили вчера. Командующий приказал — на каждый матрос эти национальные напитки. Немцы своё пиво пьют, а мы своё. Война войной, а обычаи — святое.

Он налил себе ровно полкружки — не больше, — и, глядя

на котёнка, добавил серьёзно:

— Тебе не положено, и не жди. Это взрослое дело, а во взрослом деле счёт ведут. Кто счёт потерял — тот и море потерял.

Котёнок сидел на своём табурете в углу — место ему отвели ещё вчера, и место это было лучшим на корабле: от печки шло сухое ровное тепло, снизу тянуло горячей сталью, сверху — запахом теста и обжаренного лука, и всё вместе складывалось в единственное во всём мире ощущение безопасности, за которое он теперь держался лапами, хвостом и всей своей короткой судьбой. Курт забрал клапан, вытер руки о фартук, присел перед ним на корточки — огромный, заслонивший собой половину камбуза, — и положил на доску миску с рыбой: белесой, рыхлой, варёной, пахнущей паром и солью, честной рабочей рыбой для честного супа.

— Ешь, — сказал он. — Барину полагается лучшее, а лучшего пока нет.

Котёнок подошёл, понюхал — и отвернулся: в запахе не было ничего дурного — в нём вообще не было ничего, пресная, будничная, безликая еда, от которой не дрогнул ни один ус. Курт подождал, вздохнул тяжело, как вздыхают взрослые над капризами, которые нельзя ни понять, ни отменить, — и полез на верхнюю полку, где, свёрнутый в промасленную бумагу, лежал его личный, неприкосновенный, купленный в Гамбурге у греческого торговца ещё до войны запас. Бумага развернулась с тихим шелестом — и по камбузу пошёл дым:

густой, жирный, тёплый, речной под слоем соли, — и котёнок встал раньше, чем успел что-либо решить, потому что нос решил за него.

— На, — сказал Курт, разламывая тёмную, маслянисто блестящую тушку. — Это из Гамбурга. Настоящий. Копчёный угорь, каких теперь не достанешь.

Котёнок ел — медленно, жадно, не отрываясь, — Курт же смотрел на него сверху вниз с чем-то похожим на гордость и произнёс негромко, самому себе, как говорят слова, которые потом станут присказкой всего корабля:

— Угорь — это не рыба. Это искусство.

Потом он достал со шкафа газету — потрёпанную, многократно перечитанную, с самодельной обложкой из упаковочной бумаги, на которой углём было выведено: «Корабельный колокол», — и положил её так, чтобы коту было видно. Газета, объяснил Курт, издавалась на корабле собственными силами: статьи, карикатуры, сплетни, сводки о погоде и объявления — кто проигрался в карты, кто получил выговор, кто обещал по возвращении жениться и уже передумал. — Тут всё про нас, — сказал он, постукивая пальцем по угольным буквам, — а про котов тут напишут, когда ты крысу поймаешь. Первую. Об этом печатается.

Котёнок не понимал слов, но понимал интонацию — обещание, тёплое и сдержанное одновременно, как остывающий хлеб, — и свернулся на табурете, положив подбородок на лапы, и слушал, как гудит под стенкой железное брюхо кораб-

ля, уже не чужое, а своё.

Курт ещё долго возился у бочки — допивал свои полкружки не спеша, до дна и без второго, — и рассказывал котёнку, не требуя ответа, то, что рассказывают поздно вечером: про свой родной Киль, про жену Хильду, которая, по его словам, варила эль лучше всех на северном берегу, про то, как он, совсем ещё юнгой, впервые вышел в море и три дня не мог есть от качки. Котёнок слушал не слова — голос: низкий, глухой, честный, в котором дрожь была тёплая, как в угре, — и от этого голоса камбуз казался ещё теплее, а ночь за обшивкой ещё дальше, чем была на самом деле. Где-то наверху скрипела бессонная вахта, перекатывался по трубе ночной ветер, чайки на рее переступали с лапы на лапу, — и всё это было уже не чужое, не постороннее, а то, среди чего котёнку предстояло жить, спать, ловить крыс и остаться, как обещал Курт, непотопляемым.

Боцман появился утром — в тот час, когда палуба просыхала от росы, трапы скрипели под первыми ботинками, а камбуз уже выдыхал запах завтрака: кофе с цикорием, хлеб, свинину из бидона. Он вошёл, не постучав — ему не стучали, — старый, прямой, с лицом, отлитым из начищенной латуни, с руками, которые пахли просмолённой пенькой и старой кожей, и остановился на пороге так, что весь камбуз стал на полголовы ниже. Котёнок замер на табурете, прижав уши: от человека шло не тепло и не холод — что-то третье, тяжёлая, медленная, старая тревога, которая не прыгает,

как страх, а стоит и смотрит, как стоят морские волны перед штормом.

Боцман посмотрел на кота — долго, издали, так, как смотрят на неоплаченный счёт, — и произнёс в пустоту камбуза, никому, всем сразу:

— Чёрно-белый на борту — к беде.

Курт не обернулся от своих кастрюль — только плечи его налились, как наливаются канаты перед рывком.

— Это кот, — сказал он ровно. — Не пророчество. Рабочий зверь. Крыс ловить будет.

— Как-сит, — продолжал боцман, не слушая, — про таких говорят: за душами приходят. Бабка в Ганзе учила, я ей верил больше, чем священнику: чёрно-белый, перебежавший дорогу кораблю, — весь корабль на его лапках идёт.

Котёнок не понял слов — но понял, что речь о нём: тёплый камбуз сжался вокруг него на несколько градусов, как сжимается вода вокруг ныряющего камня; он вжался в табурет, спрятал нос под лапы, слушая, как колотится его собственное сердце — частое, глупое, незваное. Курт наконец повернулся — медленно, вытирая руки о фартук, с лицом, на котором была написана вся его простая, честная, упрямая, непреклонная вера в то, что мир состоит из рыбы, углей и работы, а не из примет:

— Штефан. Это кот. Он дрожит. Он у меня в плошке ест. От него беды не больше, чем от твоей дудки.

— И день-то какой, — боцман не слушал; он смотрел в

узкое окошко, где качалась серая вода, и голос его стал тише, суше, как ржавеющий лист. — Пятница. Погрузка в пятницу. Выход в пятницу. Что за флот такой — пятничный.

— Пятница — день получки, — сказал Курт. — Так что совсем наоборот.

Боцман не ответил — он постоял ещё, тяжёлый, латунный, безутешный, потом поправил что-то на своём поясе, которого не было, повернулся и ушёл, и его шаги по стальной палубе отдались в камбузе глухими, ровными, прощальными толчками, как отдаётся якорь, падающий в воду. Курт покачал головой, вернулся к кастрюлям; котёнок, выждав, когда шаги стихнут, снова положил подбородок на лапы — но уснуть уже не мог, потому что нос, его главный орган и вся судьба, продолжал работать: он ловил в воздухе остатки старой, медленной тревоги, и они не выветривались, как выветривается дым, а оседали, как оседает соль на реях, и ждать их можно было долго.

Старика звали Штефан, и служил он во флоте дольше, чем гремели пушки этой войны: у него была своя война, своя Ютландия, свои утонувшие товарищи, о которых он не говорил никогда, — но именно оттуда, из тех лет, шла его вера в приметы, крепкая, как просмолённая пенька. Он не боялся кота — он боялся закономерности: мир, учила его бабка, был написан знаками, как штурманская карта, и кто читает знаки — живёт, а кто читает только приказы — тонет. Теперь этот знак сидел у камбуза на табурете, блестел фольгой на шее и

ел из плошки, и Штефан, проходя мимо, каждый раз замедлял шаг — не чтобы напугать кота, а чтобы перепроверить собственное сердце, которое то считало кота бедой, то, вопреки всем бабкиным правилам, считало его малышом.

Крыса пришла на третий день — ночью, когда камбуз остывал, повар уходил спать, а в трюме, под полом, пробуждалась своя, недоступная человеку жизнь: шорохи, возня, перебежки. Котёнок спал вполуха — так учила мама: спи, но слушай, — и потому проснулся сразу, без перехода: тонкий, торопливый, маслянистый шорох прошёл по обшивке за печкой, с той самой стороны, где кончалось тепло, и тело его — маленькое, лёгкое, ещё смешное — само собралось в одну пружину: уши вперёд, зрачки расширились, зад повёл, хвост замер кончиком вверх, как дозорный флаг. Шорох затих, возобновился, приблизился.

Он не думал — он делал: один прыжок — низко, вдоль пола, туда, куда шёл запах тёплой крысиной шерсти и старого зерна; столкновение было короткое, как удар молнии, — крыса брыкнула, цапнула зубами воздух, вырвалась, метнулась к щели — но котёнок был уже на её дороге, и второй прыжок закрыл щель собой. Потом было всё то, о чём он не знал раньше: тряска в зубах, горячая отдалённая победа, собственное сердце в ушах, запах чужой крови — острый, железный, незнакомый, — и звук шагов, бегущих сверху, потому что матросы слышали возню сквозь доски.

Камбуз наполнился людьми за минуту. Курт поднял кры-

су за хвост, глянул, хмыкнул — и полез в свой рундук, откуда достал фольгу, драгоценную, яркую, блестящую фольгу от шоколада, которая у моряков ходила наравне с деньгами; согнув её толстыми пальцами, поспешно, но бережно, он слепил кругляшок, проткнул шилом, продел шнурок — и повесил котёнку на шею медаль: звонкую, тёплую от ладоней, отражавшую печку и все лица вокруг.

— Первая! — крикнул Курт в дверь, и по кораблю, от камбуза до мостика, пошёл смех и аплодисменты — глухие, стальные, искренние. — Объявляю по форме: за уничтожение неприятеля — медаль. За тобой должок, барин. Угорь — за мой счёт. Я в Гамбурге возьму.

Котёнок сидел под тяжестью фольги, мурлыкал — впервые за всё время на корабле мурлыкал в полную силу, и мурлыканье это было не радостью даже, а выдохом после долгого, невысказанного напряжения: он сделал работу, которую умела его кровь, его приняли, тёплые руки теперь тянулись к нему со всех сторон; боцман, стоявший в дверях, смотрел на медаль из фольги так, как смотрят на звёзды, по которым нельзя ходить. Газета «Корабельный колокол» получила свой материал в тот же вечер: Курт написал углём на обороте упаковочной бумаги — «Наш кот взял первую крысу. Претендент на чин юнги», — и газета вышла с этой строкой на первой полосе; это была первая строка, напечатанная про котёнка, которых в его жизни будет ещё много.

Ночь же, наступившая после аплодисментов, была ночью

первой победы: котёнок спал у печки с медалью на груди, и сны его были о запахах — угорь, зерно, тёплая крысиная шерсть, — и в каждом сне он снова прыгал, и в каждом прыжке попадал, и просыпался на секунду, проверял: медаль на месте, печка тёплая, корабль гудит, — и снова засыпал. Где-то наверху дежурила вахта, где-то в трюме шуршали выжившие крысьи родичи, запомнившие новый, неумолимый закон железного мира, — и закон этот с этого часа имел имя, лицо, чёрно-белую шёрстку и табличку в самодельной газете, на которую матросы, проходя утром мимо камбуза, смотрели с гордостью, как смотрят на счёт в футбольном матче против сильного противника.

Эрих пришёл вечером, когда в камбузе гасили большую лампу и оставляли только узкий фитиль над плитой. Он был молодой, широколицый, с руками, которые пахли машинным маслом и дешёвым табаком, — и он принёс с собой бумагу: тонкую, серую, из пайка, и перо, и чернильницу, жестяную, с ржавым ободком. Он сел у стола, положил перед собой бумагу — и долго не трогал её; котёнок, спустившийся с табурета, подошёл и потёрся о его рукав: тепло этой руки было не такое, как у Курта, — оно было тонкое, дрожащее, тёплое поверху и пустое в глубине, как остывающая кастрюля, — но тепло есть тепло, и котёнок держался за него; Эрих, почувствовав, положил ладонь на его спину, между лопаток, и выдохнул так, как выдыхают люди, которые сдерживали выдох весь день.

Он писал долго — медленно, с нажимом, проговаривая шёпотом каждое слово, прежде чем опустить перо: «Дорогая мама… если вернусь, заберу тебя домой… мы на складе… работа спокойная… кормят хорошо…», — и котёнок слышал не слова, а дрожь руки под шерстью пера: в ней была крупная, тяжёлая, обманная тревога, от которой шёрстка вставала дыбом, потому что тепло рук Эриха текло мимо сердца, и котёнок знал это раньше, чем знал что-либо ещё. Эрих дочитал, положил перо, посмотрел на кота снизу вверх — усталые, тёмные глаза, в которых стояла вода, — и заговорил с ним тихо, вполголоса, как говорят с теми, кто не ответит и не предаст:

— Я пишу маме, что я на складе. Слышь? На складе. Спокойная работа, а про Вильгельма… — он замолчал; фитиль затрещал; в трюме, далеко внизу, вздохнули котлы. — Про Вильгельма я не могу сказать ей правду. Вильгельм мой брат. Он был во Франции — в сороковом. Его больше нет, а ей пишут, что пропал без вести, и она ждёт, и я не могу ей написать, что ждать нечего, потому что если она перестанет ждать, она умрёт. Понимаешь? Не умеешь — хорошо. Это хорошо, что не умеешь.

Котёнок не понял слов — он сделал то, что умел: забрался Эриху на колени, свернулся, прижался — тёплый ком к пустому, остывающему теплу, — и Эрих сжал его бережно, как сжимают последнее, и долго так сидел, глядя на фитиль; чернила в жестяной чернильнице застывали, и письмо —

мокрое, чернильное, дорогое — лежало на столе неотвратимо, обречённое с этих пор сопровождать кота дольше, чем был обречён сопровождать его сам Эрих.

Потом же Курт, вернувшийся с верхней палубы, качнул головой в сторону окошка и сказал негромко:

— Старуха прилетела.

Эрих поднялся, подошёл к окну — и там, на рее, на фоне серого, закатного, обречённого неба, сидела чайка: крупная, потрёпанная, серо-белая, с левым крылом, подломленным и вывернутым чуть не под тем же углом, что и палуба соседнего сухогруза. Она не смотрела на корабль — она смотрела туда, куда смотрел корабль, на север, в темноту, откуда шёл ветер; один раз переступила лапкой и снова замерла, и котёнок, глядя на неё из камбуза, почувствовал то же, что чувствовал у причала в первую ночь: узнавание — не страх, не жалость, а узнавание, — потому что чайки были все как одна, а эта была одна как все, и летела она криво, но летела, и этого было достаточно, чтобы быть старухой на реях.

— Занесла её, — сказал Эрих.

— Её никто не заносил, — ответил Курт и добавил, уже уходя: — Она сама себе корабль выбрала.

Котёнок сидел у фитиля, под шершавой тяжестью фольги на шее, и смотрел на серое пятно за стеклом, пока оно не растворилось в темноте, — и его нос, главный орган и вся судьба, ловил в тёплом воздухе камбуза всё то же: хлеб, лук, угорь, чернила, старую тревогу боцмана, — и что-то ещё,

тонкое, далёкое, идущее с моря сквозь сталь, — запах беды, который он теперь умел узнавать раньше всех и который, как он ещё не знал, будет учить его переживать всё, что придёт.

Когда Эрих ушёл — сложив письмо вчетверо и спрятав его в нагрудный карман, там, где у людей живёт самое драгоценное, — камбуз опустел окончательно: остыла плита, замолчал фитиль, внизу вздохнули в последний раз котлы и сменились на пост дежурные. Котёнок остался один — но не с пустотой, а с накопленным за день теплом: миска вылизана, медаль висела на шее, боевая слава вписана в газету, и будущее — большое, железное, гудящее — лежало впереди не угрозой, а обещанием, которое он, маленький, коротхвостый, четырёхнедельный, ещё не умел формулировать словами, но держал лапами, как держат тёплую стенку: не отпуская.

Глава 3. Два выстрела в Датском проливе

Линкор «Бисмарк» уходил из Готенхафена ранним утром, когда портовые огни ещё горели, а небо на востоке только начинало наливаться свинцовым серым светом, и котёнок, сидевший на самом носу, на баке, между якорными клюзами, смотрел, как берег — причалы, краны, склады, конторка с остывшей печкой — медленно, неотвратимо отступает, превращаясь сначала в линию, потом в полосу, потом в серую тень, которую нос, его главный орган и вся судьба, ещё ловил из воздуха, но уже недолго: через час запах Готенхафена — уголь, дёготь, рыба, коптильни — истончился до нуля, и на его место пришёл другой, единственный и неоспоримый запах всего остального мира — соль. Эрих нашёл его на баке, когда берег исчез; он присел рядом на корточки, глядя, как кот сидит, подобрав лапы, и встречает носом первую настоящую волну, — и заговорил негромко, так, как говорят не с котом даже, а с самим собой, когда рядом кто-то дышит:

— Слышь, малыш. Гитлер настоял на 380-миллиметровых. Настоял лично — бумагу подписывал, — Эрих постучал себя по загривку, показывая, где у людей сидит начальство. — Начальство решает, а мы стреляем. Так оно всегда устроено: наверху бумага, внизу железо, посередине — мы.

Котёнок не понял слов — он понял голос: в нём была та самая, уже знакомая нота, которую он впервые слышал у фитиля, — тяжёлая, дрожащая поверху и пустая в глубине, — и он перебрался ближе, ткнулся лбом в Эрихов колено, и Эрих положил ладонь ему на спину, между лопаток, и они просидели так, вдвоём, пока «Бисмарк», убаюканный собственным гулом, катил по Балтике на север.

Ветер крепчал весь день — незаметно, как набирает силу вода в трюме: сначала он просто гладил шерсть, потом рвал её, потом стал гнать по палубе тонкую солёную пыль, выбивавшуюся из гребней, а к вечеру носовая палуба начала дрожать под лапами — не как дрожит корабль у причала, ровно и баюкающе, а по-другому: коротко, зло, осязаемо, будто под сталью кто-то бил кувалдой изнутри, и каждый удар спрашивал: держишься? держишься? держишься? Оскар держался — растопырив лапы, вцепившись когтями в просмолённый настил, — и с изумлением, переходящим в уважение, понял, что мир, который он ещё вчера считал большим, оказался лишь тёплым камбузом при огромном, бесконечном, не знающем берегов пространстве, и это пространство дышало волнами, и у дыхания этого были зубы.

Первая ночь в открытом море была ночью, которой у него ещё не было: палуба не спала — она перекатывалась, за бортами возились и вздыхали волны, туман шёл по реям мокрыми стаями, и звёзды, качавшиеся вместе с мачтами, двигались не как звёзды над складом, а как живые, дрожащие,

чужие. Он сидел в своём жёлто-красном флаге — единственном сухом и тёплом месте на всём бушующем носу — и учил новый закон большого мира: всё здесь живое и всё дышит — вода дышит, сталь дышит, туман дышит, — и только мёртвое не дышит ничего, и мёртвого пока не было рядом, и он был жив, и корабль был жив, и этого на первую ночь хватало.

Курт, пропаривая в своей кладовой очередную бочку, выглянул на палубу, посмотрел на перехлёстывающие через борт пенные шапки, на низко идущие тучи, на кота, превратившегося в мокрый, торчащий во все стороны комок, — и мрачно сказал:

— Норвежское море, малыш. Учись. То, что тебя сейчас мочит, — это ещё комплимент.

На третьи сутки, когда «Бисмарк», пройдя невидимым для всех, кроме вахтенных, коридором между Исландией и Гренландией, входил в Датский пролив, Оскар сидел на юте, на продуваемом, обледеневающем участке палубы, откуда его сгоняли трижды, и трижды он возвращался, потому что именно там, с этого места, нос ловил лучше всего: ветер шёл с севера, принося запах холодной воды, ледяного тумана, далёких скал, — и что-то ещё, чего он не знал, не умел назвать, но что было слышно всем его кошачьим существом: пространство впереди сгущалось, как сгущается воздух перед грозой, только грозой здесь было не небо, а вода.

И он завыл.

Тихо, протяжно, из самой глубины груди — не мяуканье,

не мурлыканье, а тот самый звук, до мяуканья, который он издал когда-то над дальним громом апрельской грозы и который с тех пор не звучал ни разу. Эрих, шагавший мимо с флягой, остановился как вкопанный:

— Что с тобой, малыш?

Кот не ответил — он не умел; он продолжал смотреть на север и выть, и в выть его вплетался ветер, и вместе они делали звук, от которого по спине проходят мурашки даже у человека, не верящего ни во что, кроме артиллерийских таблиц. Курт выглянул из камбуза, вытер руки о фартук, прислушался и произнёс негромко, без обычной своей насмешки:

— Кот воет. К беде. Я такое слышал раз в жизни — в тридцать девятом, перед штормом, с которым не справился пароход «Мекленбург», — и он замолчал, потому что дальше этой фразы в памяти лежало то, что не рассказывают даже в «Корабельном колоколе».

Боцман Штефан, шедший по юту проверять фалы, остановился, посмотрел на кота, на север, снова на кота — и перекрестился: коротким, резким жестом, который он не делал на корабле ни разу за все годы службы, — и матросы, случайно оказавшиеся рядом, увидели этот жест и замолчали, потому что когда крестится боцман, человек с лицом из начищенной латуни, человек, который двадцать лет учил их не верить ничему, кроме тросов и приказов, — это сильнее любой приметы. На юте стало тихо. Только ветер да вой.

— Тихо, — сказал Эрих, поднимая кота. — Тихо. Это просто ветер в ушах, слышишь? Просто воздух.

Кот, зажатый в тёплых ладонях, действительно замолчал — тепло всякий вой побеждает, — но уши его остались развёрнутыми на север, и под серым, налитым свинцом небом он всё чувствовал: сгущение, холод, приближение чего-то, что шло к ним с той стороны горизонта, где вода и небо делались одинаковыми. Прошёл час. Прошёл второй. Пролив сузился, берега сдвинулись, вода стала плотнее, темнее, тревожнее — и потом, наискось, из этой сгущающейся дали, донеслось первое, далёкое, раскатистое, пока ещё безобидное, как чей-то далёкий труд, эхо, — а через минуту мир взорвался: на горизонте встали столбы воды, заговорили орудия, и «Бисмарк», содрогнувшись всем своим железным телом, пошёл в бой.

Первый залп ударил так, что Оскара, летевшего по трапу вниз, отшвырнуло на стенку: звук этот был не звуком даже — толчком, который проходит через сталь, через воздух, через тело, минуя уши, потому что уши для такого звука слишком малы и слабы. Он не понял, что происходит. Он вообще не понимал ничего — ни слов «боевая тревога», которые скребли по всей палубе, ни топота тысяч ног, ни лязга снарядных подносчиков, ни того, почему корабль, его тёплый, гудящий, надёжный дом, вдруг загорелся снизу дрожью и стал дёргаться, как дёргается пойманная рыба. Он сделал единственное, что умела его кровь: нашёл темноту, нашёл

глубину, нашёл койку Эриха — узкий, пахнущий табаком и машинным маслом гамак в переполненном кубрике, — и забился под неё, свернувшись в самый маленький шар, на какой было способно его тело, и там, в железной темноте, слушал, как мир рушится и восстанавливается с частотой артиллерийской стрельбы.

Второй залп. Третий. Кубрик ходил ходуном: с полок падали кружки, с крючков — скатки, койки раскачивались, как гамаки в качалках, и кто-то громко, на весь кубрик, читал молитву, и кто-то хохотал, и кто-то плакал, и всё это слилось в один сплошной гул, в котором Оскар выделял только одно: запах. Гарь. Порох. Нагретая сталь. И — сквозь всё — тот тяжёлый, медленный, безутешный запах беды, который он впервые почуял ещё над «Бисмарком» у причала и который теперь стал так густ, что его можно было бы резать ножом.

А потом случилось то, чего не ждал никто: корабль качнуло — но не от попадания; по стальным палубам, по трапам, по коридорам прокатился гром — не гроза, не залп, а другой гром, изнутри, сверху, отовсюду, — и кубрик взорвался не взрывом, а криком: «Худ! Худ пошёл ко дну! Худ взорвался!», и тысячи голосов заговорили разом, и кто-то выл, и кто-то смеялся, и стук сапог понёсся по всем лестницам сразу, потому что люди хотели наверх — видеть, кричать, ликовать.

Оскар выполз из-под койки не сразу. Он ждал, пока грохот ног стихнет, пока кубрик не опустеет, — и вышел на палубу сам, маленький, дрожащий, сквозь дым и пахнущую гарью

сталь, и то, что он увидел, он не смог понять: на юте ликовали — обнимались, кричали, кидали вверх фуражки, кто-то тащил из рундука бутылки, и Курт, забыв про пиво и про всё на свете, стоял на шкафуте и орал что-то без слов; а там, на севере, на горизонте, где час назад сходились вода и небо, поднимался дым — чёрный, тяжёлый, исполинский, до неба, и под этим дымом, на серой, вскипевшей от разрывов воде, чернели точки — маленькие, разбросанные, нелепые точки, которых было много, очень много, и которые двигались, барахтались, тонули.

И котёнок побежал между ними — не между точками на воде: между людьми, спасавшими свой корабль; между матросами, которые не смотрели на ликующих, потому что были заняты другим; он метался по залитой водой, забрызганной гарью палубе — между пожарными партиями, тащившими шланги, между подносчиками, бежавшими со снарядами к кормовым башням, между связистами, чьи руки дрожали над ключами, между санитарами, нёсшими вниз, на перевязочный пункт, человека, у которого не было ботинка и который не кричал, потому что уже не мог, — и ни один из этих людей не прогонял его, и многие машинально, не глядя, проводили по его мокрой шёрстке ладонью, как проводят по иконе или по талисману, потому что было в этом маленьком чёрно-белом теле что-то, что в железном аду казалось последним кусочком другого мира — мира, где бывают миски, тепло и сон без дрожи. Он бежал от камбуза к борту,

от борта к трапу, проверяя, как проверяют дом после грозы: печка? жива? стены? стоят? люди? вот они — и каждый раз, пробегая мимо человека, он на секунду замедлялся, впитывая тепло чужой руки, и нес это тепло дальше, как несёт его хорь или почтовый голубь, — и это была его работа в этот день, его настоящая, никем не назначенная служба: он был переносчиком тепла по кораблю, который горел гневом и ликовал, глядя, как тонет в ста километрах чужой дом с двумя тысячами человек.

Он обегал свой маршрут снова и снова, и с каждым кругом маршрут становился короче, а люди на нём — горячее: артиллеристы у кормовых башен стояли уже не в робах, а в пропотевших насквозь рубахах, от них шёл жар, как от котлов, и кот, промокший, продрогший за весь этот ледяной день, липнул к этим жарким спинам, как липнет к печке, — и артиллеристы, перезаряжая, ловили его краем глаза и двигали локтями, освобождая место у ноги, и это место всегда было его. Один юнга, лет четырнадцати, подавший снаряд и присевший отдышаться, взял кота на руки — просто взял, без слов, — и прижал к груди, как прижимают к груди последнее живое, и Оскар, не вырываясь, позволил: в этой груди, под её бешеным стуком, было ровно столько тепла, сколько ему было нужно, чтобы не замёрзнуть до конца дня, и он понял в этот момент что-то, что потом пронесёт через всю книгу: тепло не спрашивает, кто ты по имени, — оно просто течёт туда, где холодно.

Дым на горизонте не кончался. Точки на воде не исчезали — они редели, медленно, немилосердно редели, пока не остались одиночные, неразличимые с такой высоты, и Оскар смотрел на них с борта, не отрываясь, потому что нос говорил ему то, чего он не понимал: там, внизу, в холодной воде, кончалось тепло — много тепла, целое корабельное тепло, все сразу, — и не было рядом ни одной тёплой стены, ни одного камбуза, ни одного человека, который сказал бы им «ну-ну, замолкай», как сказал однажды ему Ханс.

— Отойдите от борта, — сказал вдруг чей-то сухой голос, голос командира, обошедший ют, как обходит холодная вода ноги. — Отойдите. Приказ есть приказ: курс не меняем.

И люди отошли от борта — медленно, нехотя, по одному оборачиваясь, — и Курт, опустивший было бутылку, стоял со сжатыми кулаками и не поднимал глаз наверх, на дым, и боцман Штефан смотрел на воду, и лицо его, латунное, несгибаемое, было бесцветно, и Эрих стоял рядом с котом на руках и смотрел на север, на дым, на точки, которых уже не было видно, и губы его шевелились, но он не произносил ничего — кроме, может быть, одного имени, которое он давно никому не говорил вслух.

Ночь легла на Датский пролив рано и тяжело, как ложится свинец на воду. Ликование выгорело за два часа — так выгорает порох: яркая вспышка, дым, пустота. Люди расходились по кубрикам молча, и в молчании этом было всё то, чего не было в аплодисментах: что-то безутешное, всасываю-

щееся в тёплую подкладку коек, растворяющееся в горьком дыме махорки, — потому что победа победой, а две тысячи человек в ледяной воде есть две тысячи человек в ледяной воде, и флот, который не оборачивается к тонущим, о себе такого не забывает.

У камбуза, куда Оскар вышел на ночную проверку своей империи — миска, плошка, тёплая стенка, — сидел Курт. Он был пьян — не весело, не по-корабельному, не так, как пьют за медаль из фольги: он был пьян той особенной, тяжёлой пьянотой, при которой человек сидит очень прямо и говорит очень тихо. Перед ним на ящике стояла кружка, над кружкой поднимался пар, и кот, приблизившись, почуял на нём знакомый запах — пиво, хмель, — и ещё один, незнакомый, тонкий: страх. Курт бормотал — не коту, не себе, темноте:

— Я не доносчик. Слышь? Я не доносчик. Я ещё в Киле, до всего этого… — он запнулся, глотнул. — Я просто хотел, чтобы мы выжили. Чтобы все выжили. Это разве донос? Это разве вина? Я сказал то, что все знали. Я сказал это, потому что…

Он не договорил. Он опустил голову на руки, и плечи его — огромные, плечистые, заслонявшие полкамбуза — затряслись мелко, часто, как затрясётся стена от дальнего попадания. Оскар сидел у его ног, не понимая ни слова, но понимая всё: тяжёлая дрожь шла от человека в палубу, из палубы в его лапы, и эта дрожь была не от боя — от боя дрожь была другая, короткая, деловая, — эта дрожь была медлен-

ная, застарелая, как у боцмана, когда тот говорил о Ютландии, и кот знал теперь такие дрожи: они не кончаются сами, им нужно тепло.

Он сделал то, что умел: потёрся головой о Куртово колено, мурлыкнул — тихо, ровно, с той силой, которой хватало на стенку камбуза, — и Курт, почувствовав, утонул пальцами в его шёрстке и просидел так долго, дыша, как дышит человек, которого наконец-то нашёл кто-то, кто не задаёт вопросов.

Позже пришёл Эрих — бледный, с красными веками, с неизменным письмом в кармане. Он посмотрел на кружку, на пустую бутылку возле неё, и не сказал ничего, что сказал бы трезвый, — только сдвинул кружку от кота подальше.

— Завтра тебе это выйдет боком, Курт, — сказал он тихо. — Пиво — не утешение. Оно только добавляет весу тому, что тонет. Отпусти хоть на ночь — ему нужен ты трезвый, не оно.

И сел рядом; они втроём — человек, человек, кот — просидели у остывающей плиты молча, пока Эрих не заговорил снова, гладя кота по спине, между лопаток, медленно, в такт с гулом машин:

— Мы победили, малыш. Слышишь? Все ликуют. Лондон захлебнётся от горя, Берлин — от радости. Только победа эта… — он подбирал слово и не нашёл, и сказал честно: — Она с запахом. Ты чувствуешь, да? Ты всё чувствуешь. Гарь. Воду. Холод. Это не конец, малыш. Мы выиграли бой — а за нами уже идут. Я это чувствую. Курт это чувствует. Боцман,

наверно, знал с самого начала — потому и крестился. А ты знал раньше нас всех. Ты завыл за час до боя. Учи нас, что ли.

Кот прижался к его ладони. За иллюминатором, над чёрной, свинцовой, вскипевшей за день водой, кружила — неуклюже, криво, но упрямо — серо-белая птица: Старуха прилетела не за добычей, не за кормом, не за рыбой — она прилетела смотреть, как смотрела раньше с реи: на север, туда, где кончалось тепло, — и один раз, пролетая над кораблём, крикнула — тонко, высоко, тем самым криком, который Оскар слышал в первый день у склада и который теперь узнал окончательно: это был не крик чайки. Это был голос той стороны, голос воды, голос всех, кто уже там, внизу, — и котёнок, услышав его, замер, вскинул голову и ответил — коротко, тихо, из груди, — потому что теперь он знал: воевать надо до беды, а не после, и беда уже шла к «Бисмарку» по воде, с севера, неотвратимо, как идёт прилив.

«Бисмарк» катил на северо-запад, вздыбленный гулом машин, обглоданный ветром, с медалью из фольги на шее кота и с дымом за кормой, и где-то там, в тумане, который он ещё не различал, уже поднимались из моря английские самолёты — но это будет завтра, а этой ночью у камбуза было тепло, и тепло, как всегда, оказалось сильнее всего: сильнее страха, сильнее запаха беды, сильнее даже той правды, которую люди не могли сказать друг другу, а кот не умел — и потому был нужен.

Глава 4. Руль, который не слушается

Огромный линейный корабль «Бисмарк» шёл на юго-запад — к Бресту, к сухим докам, к чужим берегам, обещавшим починку и укрытие, — и шёл отнюдь не спокойно: за кормой, в сером, не знающем усталости Северном море, разворачивался английский флот — линкоры, крейсера, эсминцы, авианосцы.

Их воздух догонял раньше самих судов: нос Оскара ловил за много миль чужие угли, чужую гарь, чужую суету и складывал всё это в одну тяжёлую линию, тянувшуюся с севера на юг, как шов на воде, который уже не расползётся.

Корабль маневрировал безостановочно — ложился на борт, выправлялся, снова кренился. Палуба под лапами то проваливалась, то поднималась, то вставала стеной, и Оскар, вцепившийся когтями в просмолённый настил, катался по ней, как по гигантским качелям: с борта на борт, по дуге, через всю ширину юта.

Матросы, хватавшиеся за леера, фыркали, смеялись — коротко, сквозь зубы, тем особым смехом, каким смеются люди, когда смех — единственное, что ещё держит их за язык и не даёт произнести вслух слово, растущее в каждом сердце.

Тревога росла с каждым часом, и росла она не криком: боевые тревоги кричат, а эта входила в людей тихо, через глаза, через дымы на горизонте, через радиорубку, из которой, как из растревоженного улья, не вылезали посыльные. Люди бегали чаще, говорили короче, глядели на море дольше.

Оскар, читавший людей по запахам, читал их страх безошибочно: страх пах кислым потом, мокрой шерстью ладоней и чем-то застарелым, идущим из глубин, откуда страх только и берётся.

Он искал место, где можно спрятаться, — и не находил. Тёплая стенка камбуза ходила ходуном вместе с кастрюлями, плошка соскользнула с подставки и опрокинулась, жёлто-красный флаг, его ночное убежище, сорвало с гвоздя одним порывом — он висел на двух нитках, мок, полоскал лапами воздух.

А под палубой, во всех кубриках, стоял такой гул ног, голосов, лязга и радиопомех, что прятаться не оставалось нигде и ни в чём: мир сжался до одного скользкого настила, и на этом настиле не осталось ни угла, куда не доставал бы ветер, ни щели, куда не дотягивалась тревога.

Оскар выбрал из худшего самое высокое из доступных мест: площадку за надстройкой, у нагретой ещё трубы вентиляции, и оттуда, снизу вверх, глядел на бегущих, хватавшихся, кричащих людей. Кто-то пробежал мимо, крикнул весело, сипло: «Смотрите, как нашего барина болтает!» — и смех этот прозвучал и утонул в общем шуме, как монета,

брошенная в море.

Котёнок вздрагивал от каждого крена, прижимался к тёплому железу и ждал — ждал, ждал, ждал, — потому что нос говорил ему то, чего не говорил никто: линию с севера уже переломали на части, и части эти шли к ним.

Смех смехом, а в кубриках, где не было боцманов и офицеров, шептались о другом: «Кот воет — к беде. У Худа завыл — и не соврал».

И кто-то отвечал: «Так это он тогда не выл — это у нас совесть выла» — и шёпот этот полз по палубам, прирастая деталями, как прирастает пена к днищу, и к вечеру уже вся команда знала то, что знал один Оскар: нос — главный орган кота и вся его судьба — снова поймал то, чего ещё не видел ни один прибор, и на этот раз беда шла не одна, а со свитой.

Боцман Штефан за весь день не сказал ни слова — он только пощёлкивал ногтями по латунной бляхе своего пояса, отмеряя такт чужой, приближающейся волны. Матросы, проходя мимо, сбавляли шаг: когда молчит латунное лицо, громче всех кричит собственное сердце.

Ночь легла на корабль рано и криво: палуба качалась, иллюминаторы хватали то звёзды, то воду, и сон не приставал ни к людям, ни к котам.

Оскар не спал — он ходил по палубе от борта к борту, от трапа к трапу, обходя свою империю, которой больше не существовало: миска опрокинута, флаг мокр, печка остыла, люди не гладили, потому что людям не хватало рук даже друг

для друга.

И он мяукал — негромко, настойчиво, в темноту, в ветер, в воду, никому: мяуканье это не имело ни просьбы, ни жалобы — оно задавало миру вопрос, на который мир молчал.

Эрих нашёл его на юте, на самом продуваемом месте, откуда нос ловил лучше всего. Он поднял кота, укрыл ладонями, прижал к груди, пробормотал: «Что ты ходишь, малыш — вот же упрямый» — и понёс вниз, вглубь, туда, где тоньше шум и толще запахи: понёс через мокрые трапы, мимо часовых, сквозь гул — и опустил его в трюм, на ящик, обёрнутый мешковиной.

— Сиди здесь! — сказал он почти сердито, и сердитость его оказалась нежностью, надёрнутой на страх, как рукавица. — Сиди. Тут тихо. Тут сухо. Не вылезай, слышишь?

Котёнок слышал — он слышал и то, как этот голос удаляется, как затихают шаги, как закрывается дверь, — и остался один среди мешков с мукой, ящиков с консервами, бидонов с жиром, среди запахов запасов — пшеничных, солёных, мыльных, — среди капель, срывавшихся с переборок, и гула винтов, доходившего сюда через всю толщу железа приглушённо, ровно, глубоко, как пульс во сне.

И в этой темноте, на ящике, укутанный запахами, Оскар сделал то, чего не делал ни в одну ночь на корабле: он мяукал — долго, ровно, с паузами, как спрашивают и ждут ответа.

Мяуканье это, тонкое, стеклянное, почти бесшумное в железном трюме, оказалось страшнее воя: вой — это когда

беда ещё далеко, а это — когда она уже входит и ещё не назвала себя.

За переборкой кто-то из кочегаров, рухнув в койку, бормотал во сне про жену и про пироги; капли срывались с потолка — оцыпл, оцыпл, оцыпл; винты гудели. И кот мяукал, и никто не отвечал, и время шло, и где-то наверху, над самой водой, в темноте уже кружили, распугивая ночную рыбу, машины, которые он услышал раньше всех.

За дверью трюма жизнь шла своим страшным порядком: где-то наверху докладывали курс, где-то меняли вахту, где-то матрос, спускаясь с трапа, сунул голову в дверь, прислушался и бормотнул в темноту: «Есть кто?.. А, кот. Сиди, барин, сиди, тебе хуже не будет», — и ушёл.

Оскар остался со своим мяуканьем, со своим вопросом, на который отвечали капли, винты и бормочущий про пироги сон. Запахи трюма выстроились вокруг него полным кругом — мука, крупа, жир, краска, мыло, машинное масло.

А среди них, далеко на краю, за всеми этими ящиками и бидонами, еле-еле, на самой границе слышимости носа, дышал ещё один, тонкий, дымный, речной — Куртов запас, Куртов угорь, лежавший этажом выше, на своей верхней полке в промасленной бумаге.

Котёнок, повернув голову на этот запах, успокоился на секунду: адрес ещё существовал, дом ещё был — пусть этажом выше, пусть за сталью, пусть в чужой корме, — но существовал, и это позволяло дышать.

Он лёг, подмял под себя лапы, спрятал нос — и вскочил снова, потому что нота сверху стала громче: машины кружили, снижались, шли на него, как шли когда-то чайки за рыбацкой шаландой. Он мяукал уже без пауз, сплошняком, стеклянно, тонко, и на тонкий звук этот сверху никто не ответил, потому что наверху умели слушать только эхолоты, а эхолоты слушали не котов.

В гул винтов вплелась новая нота — далёкая, тонкая, свистящая, идущая сверху: воздух, разрезаемый крыльями.

Оскар встал на ящике во весь рост, вытянул шею, навострил уши — и в следующую секунду мир ударил.

Торпеда попала в корму так, что Оскар не услышал её — он почувствовал: толчок прошёл через сталь, через ящик, через его маленькое тело раньше звука, минуя уши, как минуют их выстрелы.

Трюм взвыл — полетели крышки, посыпалась мука, звякнули консервные банки, — и на секунду всё замолкло: та страшная, дежурная тишина, которую корабль берёт, чтобы пересчитать себя после удара.

Потом закричали люди. Закричали не от боли — от невозможности: «Руль! Руль не слушается! Руль стоит!» — и эти крики, отразившись от переборок, побежали по всем палубам сразу.

И корабль начал делать то, чего корабли не делают никогда: он перестал слушаться — машина работала на полный ход, а корма упрямо держала свои пятнадцать градусов, и

линкор, вместо прямого пути к Бресту, стал писать на воде циркуляции, медленные, послушные смерти круги, по которым его теперь можно было найти даже в тумане, даже ночью, даже в темноте, в которой он до сих пор прятался.

Оскар вылетел из трюма раньше, чем открылась дверь, — сквозь щель, когтями, — и побежал по коридору, не зная куда: за запахом Эриха, но Эрих растворился в общем смраде — гарь, пар, машинное масло, горелая краска, — и запаха не осталось.

Остался только коридор, уходящий вбок, наклоняющийся, дрожащий. Навстречу бежали люди с ломами, с матрасными пластырями, с фонарями, чьи лучи хватали то стену, то лицо, то воду, хлеставшую из пробоины, — и никто не смотрел под ноги, и кот уворачивался от сапог, как уворачивался от тележки: тело помнило и это.

Он бежал, метался между людьми, и каждый раз, пробегая мимо, на секунду замедлялся: человек — тепло, человек — проверка дома, — но руки у людей теперь занимало железо, и тепло не доставалось никому, даже коту.

Он поднялся по трапу, вышел на палубу — в крен, в ветер, в круговращение света прожекторов, — и увидел то, чего не понимал: «Бисмарк» ходил по кругу — огромный, слепой, раненый в пятку, — и изнутри этого круга не было выхода.

И нос, его главный орган и вся судьба, говорил об этом без слов, просто и страшно: дом перестал слушаться, как перестал слушаться руль, — и для железа, и для кота это значило

одно и то же.

А по пути, между палубами, он снова встретил того самого юнгу — четырнадцатилетнего, с обожжённой от снарядных подносчиков ладонью. Юнга, ни секунды не медля, подхватил его на бегу, прижал к груди — так же, как прижал однажды у кормовых башен, — и понёс два пролёта.

За эти два пролёта Оскар снова ощутил то самое: под бешеным стуком этого сердца было ровно столько тепла, сколько нужно, чтобы не замёрзнуть. Потом юнга спустил его, крикнул: «Держись, барин!» — и побежал дальше, к своим снарядам, и кот побежал дальше, к своему дому, и оба исполняли свои обязанности, и ни у одного не было имени для другого.

Обратно он шёл тем же коридором — и коридор уже не совпадал сам с собой: палуба кренилась, трап стоял наискось, ступени уходили вбок. Кот, цепляясь когтями за перила, шёл, как идут по палубе в шторм, — со всеми четырьмя лапами сразу, прижимаясь к стене.

Мимо, снизу, из глубин корпуса, доносилось то, что он никогда не забудет: глухие, медленные, прерывистые звуки, которыми сталь отдаёт отчёт о воде, вошедшей в её брюхо, — шипение, бульканье, гудение помп.

И среди этого гула кто-то кричал счёт: «Сорок тонн! Пятьдесят! Затоплено!» — и счёт этот, как ни прислушивайся, вёл только в одну сторону — вниз, в холод, в ту самую сторону, где кончается тепло.

Оскар добрался до камбуза, до печки, до стенки, — стенка ещё гудела, ещё дышала, — и свернулся у неё. И весь остаток дня делал единственное, что мог: слушал, жива ли ещё эта стенка, и между короткими снами просыпался проверять её лапой — тёплая, тёплая, тёплая, — как проверяют пульс умирающего.

Корма, куда пришла торпеда, была теперь самой тяжёлой частью корабля: её заливало, в ней гудели помпы, там работали аварийные партии.

Оскар, пробравшись туда через полузатопленный коридор, нашёл Эриха — Эрих стоял по колено в воде, упираясь плечом в переборку, и поднимал что-то тяжёлое вместе с тремя другими, и лицо его, залитое водой, казалось вырубленным из того же железа, что и корабль.

Кот, сев на сухой ещё шкафут, смотрел на него снизу вверх и мяукал — коротко, требовательно, по-деловому. Эрих сквозь шум услышал, обернулся, и в глазах его мелькнуло то, чего котёнок видел однажды у фитиля: вода, — и он крикнул через палубу, перекрикивая ветер:

— На камбуз! Домой!

Голос этот оказался для Оскара приказом, как «Los!» и «Halt!» были приказами для матросов, — и кот побежал домой, потому что дом, даже умирающий, оставался домом.

Ночь прошла в кругах: корабль, лишённый руля, ходил по своей циркуляции, эсминцы в темноте пускали торпеды — мимо, мимо, мимо, — и измученный экипаж ждал рассвета

так, как ждут приговора, зная приговор заранее.

Утром он пришёл: четыре английских корабля встали по носу и по траверзу — тяжёлые, неотвратимые, уже не гоняющиеся, а добивающие, — и заговорила их артиллерия, сначала редкими, пробующими вспышками, потом залпами.

И мир вокруг Оскара сделался сплошным ударом: вода вставала столбами, сталь пела, переборки отделялись от переборок, и «Бисмарк» — самый большой корабль, который когда-либо сходил со стапелей Германии, — начал умирать так, как умирают большие звери: медленно, тяжело, отказываясь до последнего верить в неизбежное.

Камбуз залило по колено — чёрная, маслянистая, солёная вода, несущая обрывки, кружки, плывущую, как утка, бочку с пивом. Полка рухнула, и промасленная бумага расползлась, и тёмная, драгоценная тушке растворялась в этой солёной воде — растворялся запах угря, запах дома, единственный адрес, который Оскар имел на свете.

Котёнок, стоя в воде, тянулся носом туда, где этот запах ещё дышал, ловил его обрывки — дым, жир, тину, — и не мог удержать: вода держала в себе всё, что падает, и не отпускала ничего.

Дом кончился — не со взрывом, не с криком, а вот так: запах, растворяющийся в чужой соли, — и это оказалось самым тихим концом из всех возможных и самым необратимым.

И тогда в воду вошёл Курт — огромный, в намокшем фар-

туке, с лицом серым, как палуба. Он нашёл его, маленького, вжавшегося в угол между опрокинутым ящиком и остывающей печкой, и, подхватив, стряхнул с него воду ладонью — грубо, бережно, по-своему, — и сказал то, что потом Оскар будет вспоминать всю жизнь:

— Ну что, моряк. Нам пора.

Он расстегнул мокрый бушлат, разложил пазуху — тёмную, пахнущую табаком, салом и собой, — и посадил кота внутрь, к самому теплу. Котёнок, не сопротивляясь, сполз по мокрой шерсти куртки вниз, к груди, и остался там.

И услышал то, чего не слышал никогда: сердце Курта — быстрое, глухое, тяжёлое, бьющееся прямо в его уши, в его усы, в его маленькие дрожащие лапы.

Это сердце оказалось громче машин, громче залпов, громче всего: все машины корабля теперь умолкали одна за другой, а сердце человека, несущего кота, стучало — неумолимо, неостановимо, упрямо, как последний работающий двигатель этого дома.

И Оскар вжался в него всем телом, и зарылся носом в сукно, и держался за него, как когда-то держался за манжету Ханса на холодном причале: не отпуская.

Мимо, к трапу, текла очередь — голые головы, мокрые спины; кто-то нёс раненого на матрасе, кто-то снимал сапоги, чтобы не тянули вниз. Люди выходили из этого дома молча, с расстёгнутыми воротами, как выходят из комнаты, где умерло всё живое.

Курт стоял в этой очереди, не лезя вперёд — не по-куртовски было лезть, — и пазуха его, единственная тёплая страна на всём этом корабле, ходила вверх-вниз от его дыхания.

Оскар, сидя в ней, слушал сразу два сердца — своё, частое, и чужое, тяжёлое, — и понимал теперь то, чего не понимал ни в один сон: дом — это не стенка камбуза, дом — это тот, кто несёт.

Впереди была вода — ледяная, чёрная, подступающая к палубе всё выше, — но пока пазуха держала тепло, а пазуха держала, — и этого хватало на следующий шаг, и на шаг после него.

Наверху, над накренившейся, дымящейся, умирающей палубой, кружила — криво, но упрямо — серо-белая птица, и крик её, тонкий, высокий, знакомый до дрожи, пробивался сквозь сукно бушлата к маленькому сердцу, стучащему внутри человеческого.

Оскар, не видя её, узнал: Старуха прилетела проводить — так, как провожают не корабли, а тех, кто на них жил. Котёнок, за пазухой, в темноте, в тепле, стучащем ему прямо в уши, ответил ей — один раз, тихо, из груди, — потому что по этому берегу они теперь шли вместе.

А потом Курт шагнул к трапу, и палуба качнулась под его мокрыми сапогами, и из недр корабля, из его остывающего железного брюха, донёсся последний, уже не грозный, а прощальный гул — так вздыхает зверь, засыпая навсегда.

Котёнок за пазухой услышал этот вздох раньше людей, по-

тому что нос слышал всегда раньше всех, и прижался теснее: до воды оставалось меньше, чем до спасения, — а спасение, как всегда, имело запах — табака, сала и человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.